

«ДУША ГРУСТИТ О НЕБЕСАХ...»

трагедия поэта Сергея Есенина

*Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.*

Сергей Есенин

«Помолись перед ликом Спасителя За погибшую душу мою»

Господь даровал ему душу нежную, а рязанская деревня – с рекой Окой, белесыми осенними лугами и желтоватыми берёзовыми гривами – влилась в душу полевой славянской песней, похожей на птичий пересвист-перезвон, когда рассветная синева ласково и тихо коснётся неба, и в тающем сумраке холодно и призрачно оживут косматые ивы у реки, копны сена, косые прясла поскотины, огородные тыны, амбары, избы, когда петух расплескивая ночь, оглашено пропоет зарю и ответно промычит корова и уж озорной пастух зазывно постучит в калитку...

* * *

Славили Есенина все, кому не лень и кому было выгодно. Лишь теперь немного, приутихли, когда инославные вновь соблазнили народ, полонили и на русское песенное слово вышел запрет. А ещё недавно вопили славушку поэту: и порочный малый, стихоплёт, с крылом волос, как с чёлкой конской, укрывшей бесноватый глаз; и женственный певец с косичкой и серьгой в ухе; и раздобревший и лукавый пустобай; и хулиган-жиган из подворотни; и с жирными перстнями душегубец-вор; а с ними и барыги, и правители, иноверцам продавшие Русь. Все они славили рязанского поэта, и, размазывая по лицу мутные, хмельные слезы, мусолили «хулиганские» стихи. Но славушка от них, что ославушка, будто и не славили, – изгалялись над бедной деревенщиной, заблудшей в каменной чащобе. От таких похвала, что хула.

И сквозь блудливую хвалу слышно, – ветер гудит на одичавшем русском поле, и деревенская старушка в «старомодном ветхом шушуне» – страдальца Россия – христарадничает, просит милостыню на церковной паперти. А в деревне гиблой воет древний пёс, и сквозь вой, сквозь гул и посвист ветра слышно – вроде, с могилок сельских, заросших дурнопьяною травой, – Есенин плачет, слезно молит:

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать...

* * *

Замшелая, глухая деревенская изба; в красном углу тепло, неярко, потаёно светятся иконы, и перед ликом Спасителя лампадка, – огонёк вяло мерцающий, завораживающий взгляд, влекущий в сон, как будто в вечный; а под иконами в рубахе русской, по вороту и рукавам расшитой рябиновыми обережными крестами, лежит поэт Сергей Есенин, – исповедался и причастился, уготовился предстать пред Богом.

Но нет, не было избы и широкой лавки в красном углу, не было русской рубахи и святых икон, под которыми сам Бог велит умирать. Было иное, страшное, – убила нерусь русского поэта.

Есенинскую песню возлюбила Русь, берестяная и соломенная, с верой, надеждой, любовью глядевшая в небесную синь. Под есенинскую песню и плакала, и веселилась. Но всё же не славу б только, суетно-земную, возносить рязанскому поэту, а всем миром русским помолиться Богу, чтоб даровал спасение душе, заблудшей в яростном мире, и поныне неприкаянно и необласкано молитвой витающей над нами и среди нас.

И сам поэт, словно предвидя весь распад, какой вместе с Россией и в его душе случится, в двадцать один год от роду уже просил в слезах:

Помолись перед ликом Спасителя
За погибшую душу мою.

Сманил суетный город избяного парня, отринул от благовестных звонов колокольных, от ангельского пения и молитвы, искусил славой мирской, но в обмен душу испросил вместе с любовью к Богу. И взял он, демон города, ту душу и оставил пустоту и одиночество, и тоску, какую в вине не утопить, в диком зрелище не разживить. Душа поэта спохватилась, всполошилась, заплакала сама по себе, но было уже поздно.

Я понял, что такое слава.
И потому мне
В душу грусть
Вошла, как горькая отравка.
На кой мне чёрт,
Что я поэт!..
И без меня в достатке дряни.

Так и помолимся, люди русские, чтобы милостивый Боже упокоил душу раба Божия Сергея и простил ему прегрешения, вольные и невольные, и даровал душе его спасительный покой. Уже за то, что столько было в его пении и нежной, и душераздирающей любви ко Святой нашей Руси, – последнему Господнему приюту на земле.

«Народ проявит своего Пушкина...»

Мать Россия вынашивала деревенского поэта Сергея Есенина весь золотой век поэзии, потом выпайвала из ключей устного песенного слова. Его и вместе с ним иных даровитых сельских стихотворцев, а потом и нынешних писателей деревни, прославленных всесветно, предрёк Федор Достоевский ещё в 1871 году. В то лето Федор Достоевский пишет Николаю Страхову:

«А знаете – ведь это всё помещичья литература. Она сказала всё, что имела сказать (великолепно у Льва Толстого), – но это в высшей степени помещичье слово было последним. Нового слова, заменяющего помещичье, ещё не было...»

Помещичье слово заменилось, но чем?! После глубокомысленной или изнеженной, игривой или студёно-томной барской литературы выползла из дешёвеньких квартир и мансард ещё и ворчливая, болезненная интеллигентская литература, а потом яростно замахала кулаками и пролетарско-бичевская – «безумству храбрых поём мы песню...»; и все эти литературы, уводя народ от Христовой Истины, столько посеяли в умах нелюби и смуты, что породили братоубийственную сечу и обрекли Русь на гибельные муки.

Насмешивший западников «куфельным» (кухонным) мужиком – спасителем России, славянофил-почвенник Федор Достоевский, поразмыслив, добавляет:

«Когда народ, как он твердо станет, он проявит своего Пушкина...»

И народ явил своего Пушкина, – в рязанском селе родился поэт Сергей Есенин...

Это предвиденье великого народного поэта было у Достоевского, конечно, не случайным. Слушая крестьянскую песню, он – в отличии от иных дворянских писателей вернее разглядевший русскую душу, хотя и живший вне народно-обрядовой жизни, вне народной языковой стихии, – вдруг удивленно, озарёно промолвил:

«Ах вы сени, мои сени... Поэт не ниже Пушкина...»

И это сказал Достоевский, в Пушкине души не чаявший, и в речи, произнесенной в заседании Общества любителей российской словесности, вдруг воскликнувший:

«Никогда ещё ни один русской писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так душевно и родственно с народом своим, как Пушкин».

И вот на тебе: **«Поэт не ниже Пушкина...»** А может, выше Пушкина?.. Если припомнить, что и «Сени...» – песня не самая великая в необозримой народной поэзии... Впрочем о том, что явится поэт «не ниже Пушкина», Федор Достоевский говорил и раньше, ещё в 1861 году:

«Мы готовы признать, что может явиться народный поэт и в среде самого простонародья, – не Кольцов, например, который был неизмеримо выше среды своей по своему развитию, но настоящий простонародный (деревенский, – А.Б.) поэт. Такой поэт, во-первых, может выразить свою среду, но не возносясь над ней отнюдь, а приняв всю окружающую действительность за норму, за идеал. Его поэзия почти совпадала бы тогда с народными песнями.» (Как и вышло со многими стихами Есенина, – А.Б.) /.../ *Такой поэт мог бы быть очень силен, мог бы выразить неподдельно народ».*

Но тогда Достоевский, будучи славянофилом особого почвенного толка, ещё спорил со славянофилами аксаковского согласия, которые видели великую духовную и культур-

ную ценность народа в его нетронутой **книжным** просвещением национальной самобытности. (В нынешнем научно-техническом веке новоявленные славянофилы полярно изменили взгляды на книжную просвещенность нашего народа, настаивая лишь на **русскости** народного просвещения.) Споря же с аксаковским согласием, Достоевский тогда, возможно, был ещё сам в плену своей дворянской **книжной** образованности, в плену критериев поэзии, выработанных той же помещичьей литературой, в плену, наконец, и своего происхождения, — как и всё почти дворянство, духовно, культурно настолько был далёк от простонародья, то есть крестьянства, что оно было для него неведомым, прекрасным миром, который он всю жизнь с мучительной любовью постигал, на который — ни на какое другое сословие — он возлагал великие духовные надежды в будущей истории России. Итак, расходясь с хомяковско-аксаковскими славянофилами, напуганными **развертым западным просвещением**, Достоевский тут же и добавляет:

«Но во всяком случае он (поэт из простонародья, не искушенный книжной грамотностью, — А.Б.) был бы неглубок и кругозор его был бы очень узок. Во всяком случае Пушкин был бы неизмеримо выше его».

И всё же через десять лет Федор Достоевский воскликнет, что *«Ах вы сени мои, сени... Поэт не ниже Пушкина.»*, и что *«народ проявит своего Пушкина».*

Таким манером Федор Достоевский как бы и предрёк приход Есенина...

* * *

Почти в ту же пору начинает омужичиваться Лев Толстой (как сказали бы нынче, *косит* под мужика): потешая хитроватых мужичков, берётся за соху, пашет, сеет хлебушек, а потом, лежа на диване, читает Марка Аврелия. Вечерами учит крестьянских детей грамоте, хотя тех азы, буки, веди страшат, что медведи, хотя помнит, что Гоголь боялся книжной грамотности, которая заразит простонародье порочным французским чтивом и замутит православный дух. (Впрочем, надо отдать должное Льву Николаевичу: чтиво, которое одолевали сельские ребятишки, было ясным, нравственно-назидательным и предельно близким обыденной и праздничной жизни крестьян. Он и сам написал дивную, добрую, народную книжку рассказов для крестьянских детей. Один «Филиппок» чего стоит...) Тогда же, отвлекаясь от еретических, умственных блужданий в Христовом Учении, от поисков истины в Талмуде, Коране, буддизме, в восточных и западных философиях, отдыхая от нападков на Русскую Православную Церковь, величавый писатель неожиданно затевает серию книг, где печатались сельские писатели.

И в крестьянской прозе конца девятнадцатого века были добротные мастера народного слова, выразители народного духа, но писатели нынешнего века, прозванные деревенскими, — Борис Шергин, Василий Шукшин, Федор Абрамов, Василий Белов, Валентин Распутин, Владимир Личутин, — и духом, и словом вознеслись над ними. Похоже, те вышли слишком **социальны**, а посему и не смогли с тихим и певучим восторгом напоить

своё письменное слово боголюбивым, человеколюбивым, природолюбивым крестьянским духом, как не смогли и украсить этот дух словесным волшебством, кое жило тогда в устном поэтическом народном слове и которое даже и Пушкину было не по плечу. Для доказательства можно вспомнить хотя бы неграмотную, нищую и великую северную сказительницу Ирину Андреевну Федосову (1831-1899), от которой Барсов записал два тома поэм-плачей (30 тысяч стихов). А поэмы Федосовой – это не «*Ах вы сени, мои сени...*», это неопостижимый для книжного сочинителя божественный взлёт творческого духа. Но об этом мы поговорим чуть позже...

И вот пришел Сергей Есенин.

И не сказать, что именно в нём русский простой народ и явил своего Пушкина, – народный дух и народное слово намного шире, – но, кажется, именно в нём он и попытался явить его. А вероятнее всего, народу и не нужно было своего Пушкина – в народе, как уже было сказано, ещё жило песенное, былинное и сказовое слово, о котором – как и о небе и земных красотах – даже и не скажешь: талантливо или гениально, ибо оно, народное творчество (тем паче иконопись, духовная поэзия, житийная проза), выше эти суетных понятий.

«Не вернусь я в отчий дом, Вечно странствующий странник...»

Где же источные ключи есенинской поэзии?.. Они в поэзии народной. Поэт вместил в свой творческий дух и деревенского юродивого, и деревенского сказителя, которые сплошь да рядом были никудышными крестьянами, а посему и отношение сельского мира было к ним порой сложным.

Русские – чую и вижу крестьян православных, ибо и Русь была крестьянской, и слово-то само **крестьянин** родилось от слова **христианин**, – так вот, русские во всякой деревушке, не говоря уж о селе с церквями, имели своих юродивых во Христе, **убогих** (**у Бога** душой обитающих уже и в брэнной земной жизни), кои молились за крестьян, которые, что греха таить, в страдную пору дорогу к церкви забывали.

Славились в деревнях и селах наравне с юродивыми во Христе и доморощенные балагуры, баешники, бодяжники (мастера бодяги заливать) – словом, устные поэты. И тускнеет книжная поэзия, даже пушкинская, пред их мудрым словом, кружевным, резным, молвленным ли на завалинке, у русской ли печи при лучинушке, вопленным ли на свадьбе и похоронах, на проводах рекрутов, спетом ли в застолье, в хороводе. Не все они – сказители, певни, плакальщицы-вопленицы – были ровни по духовной силе и красе слова, но и великих рожала земля русская. Вспомним и Киришу Данилова, и сказителей Рябининых, и уже помянутую добрым словом вопленицу Арину Федосову, и сказочницу-былинщицу Марию

Кривополенову, за малый рост прозванную Махоней, и даже нашего присаянского земляка Сороковикова-Магая. Их поэзию не вместить в книги, сколько бы их не издавалось на Руси, как сроду не вместить в альбомы все красоты русские.

Но вот, скажем, «Причитания северного края» Ирины Федосовой, напечатанные в трёх томах (1872-1875 годы), получили всесветную славу. Об этой книге писали статьи знаменитые ученые академики Л.Н. Майков и А.Н. Веселовский. Её поэмы плачи звучали на больших заседаниях в Российской академии Наук, в Русском географическом обществе, в Археологическом институте, на вечерах у графа Шереметьева и Победоносцова. Ирину Андреевну слушали, читали, с восторженным удивлением писали о ее поэмах-плачах и Некрасов, и Римский-Корсаков, и Балакирев, и Шалапин, и Пришвин, и Твардовский, и даже Горький, не привечавший русского крестьянства; мало того, они и в своем творчестве вдохновлялись поэзией деревенской бабы, которая... не знала книжной грамоты и долго бродила по родимой земле с нищенской котомкой и певучей причетью. Некрасов один из плачей Ирины Федосовой ввёл в поэму «Кому на Руси жить хорошо». Близки её поэтические причитания были, конечно, и Есенину. Это она, Арина Федосова, деревенщина простая и вещая, увидела ещё задолго до кровавого переворота:

«Хоть повыстанем по утрышку ранешенько, // Не о добрых делах мы думу думаем,
// **Мы на сонмище бесовско собираемся, // Мы во тяжких грехах да не прощаемся!** //
Знать, за наше за велико беззаконие // Допустил Господь ловцов да на киян-море; // Изловили они рыбоньку незнамую, // Повыняли ключи да подземельные, // Повыпустили горюшко великое! // Зло несносное велико это горюшко // По Россиюшке летает ясным соколом, // Над крестьянамы, злодийно, чёрным вороном. (...) Послушайте словеса наши старинные, // Заприметьте того, малы недоросточки! // Уж как это сине морюшко сбущуется, // **Вси изменятся пустыни богомольные, // Разорятся вси часовенки спасенные** (Выделено мною, – А.Б.).»

Устное поэтическое слово – вот семенное зерно, из коего возшла, заколосилась есенинская лирика, и не увяла даже при духовной засухе.

* * *

Русская деревня являла и книжных поэтов – в мудрости и украсности первородного слова они уступали сказителям-былинщикам; но их поэзия, ещё такая родная устной, и в классической литературе не только живёт наравне с поэзией дворян и разночинцев, но она, эта крестьянская поэзия, в духоту и смуту помещичьего, интеллигентского искусства предвнесла живой и здоровый дух народной жизни и народного слова. Вспомним Кольцова, Никитина, Дрожжина, Сурикова, – многие стихи их стали русскими песнями.

Но если деревенский мир мистически любил своих юродивых во Христе – они молились Богу во спасение крестьянских душ – то к сказителям относился сложно: любили деревенские послушать их былины и побаски, особенно после страды в дни роздыха дол-

гими и тёмными зимними вечерами, но самих баешников, а после и поэтов, случалось откровенно недолюбливали и отторгали из своей среды. И всё по той причине, что сказители и книжные поэты от своей мечтательной и созерцательной, словоохотливой природы частенько выходили никудышными, нерасторопными, ленивыми крестьянами, частенько бывали и непутными, отступившими от Бога, нередко к тому же подверженными пагубному пристрастию к вину и шалому веселию. А уж глубоко православные, воцерквленные, крепкие крестьяне, – не признающие никаких книг, кроме Священного Писания и строящие свою и домашнюю жизнь по суровому домострою, где главное страх Господень, послушание, почитание старших, натужный, но радостный труд, укрощающий плоть, – такие и во все на дух не переносили этих непутных баешников и поэтов: дескать, все это *блядословие* – беса тешат и в *искус* народ вводят. Так они и всё светское *искусство* понимали: мол, от демонского *искуса*.

Привечало русское простонародье лишь рукодельное художественное ремесло, мистически-обережно, благолепно украшающее храмы, усадьбы, наряды, домашний скарб, хотя и тут предпочитало скромность и умеренность.

С любовью относились к своим сказителям-старинарям, лишь северные поморы, не так, как пахотные крестьяне, глубоко воцерквленные и вольные, которые брали их на рыбный промысел, – а он, бывало, тянулся месяцами, – и даже выкраивали им рыбный пай. Тоскливыми вечерами и бессонными ночами, где-нибудь на диких островах, когда студёное море бушевало, слушали святые жития, богатырские былины, житейские бывальщины и потешные байки. От долгого, беспроклого и скучного сидения на каменном и голом берегу в сердца поморов остудными ветерками-сквозняками кралась взаимная неприязнь, и кинулись бы мужики друг на друга с кривыми рыбацкими ножами, распластали друг другу груди, словно рыбе-семге, если бы не сказители, кои и размягчали, утешали, растепливали их сердца добрыми, поучительными сказами.

А в крестьянском житье сказители, а потом и стихотворцы, если напрочь не отшатывались от деревни, то и мужичью работу не тянули, а любили пастушество, рыбалку; любили бродить по лесу с лукошком, собирали то, что не сеяли, – ягоды, грибы и прочие таёжные дары. Это не землю пахать да хлебушек сеять, не животину обихаживать; тут уж вдосталь времечка для тихого созерцания, сладостного мечтания, для азартного складывания в сердце и уме святых напевов и сказов, побасок, быличек и стихов.

Не ведаю про Есенина, но Николая Рубцова, – поэта близкого ему по духу и слову, – говорят, бывало, хлебом не корми, а дай побродить по березнякам с грибным кузовком. Тенистые, потаённые перелески и нашептали ему своей листвою:

...И под каждой березою – гриб,
Подберёзовик.
И под каждой осиною – гриб,
Подосиновик. (...)
И закружат твои глаза
Тучи плавные,
Да брусничных глухих трясин
Лапы, лапушки...

В какой-то мере житейскую судьбу народных сказителей разделил и Сергей Есенин... Поэт до жгучей и сладостной боли любил рязанскую деревню, и в поздних стихах звенит печаль о том, что убрёл его жизненный просёлок от родимых нив. Но из числа никудышных крестьян и деревенских отверж, отбившихся от пашни, был уже и отец Есенина Александр Никитич. Маломощный, малоземельный, ушёл он из Константинова аж в стольный град Москву, где изловчился и прибился к купцу Крылову приказчиком. Но если константиновские мужики уходили из деревни в отхожий промысел, чтобы приработать деньжат и, вернувшись к родному подворью, купить лошадь, коровёнку, инвентарь, леса на новую избу, то Александр Никитич напрочь отшатнулся от земли, от хозяйства, стал «москвичом».

С приходом к власти большевиков лавку прикрыли, и Александр Никитич возвратился несолоно хлебавши в родное село, но был уже тут отрезанным ломтем. Дочь его – сестра Сергея Есенина – Шура вспоминала:

«Приезжая домой только в отпуск, он не знал крестьянской работы, а привыкать к ней в этом возрасте было уже нелегко. Он не умел ни косить, ни пахать, ни молотить, даже лошадь запряхь не умел. Да и сил у него не было... Сознывая свою неприспособленность и слабосилие, отец чувствовал себя не на своём месте и ходил всегда грустный. Целыми часами сидел он у окна, опершись на руку, и смотрел вдаль».

Так и кажется, что от такого светло-печального, обморочного и в то же время наслаждающего гляденья в даль должны были народиться такие вот певучие стихи:

Гой ты, Русь, моя родная,
... Хаты - в ризах образа
Не видать конца и края
Только синь сосет глаза.

Но это пропел уже сын его – Сергей. Впрочем, похоже, и Александр Никитич был поэтом, – но лишь в душе, и воплотился в своём сыне, который был ему близок по натуре и характеру (разве что живость и напористость взял Сергей от материной родовой). Но, чудно то или не чудно, любви не вышло между сыном и отцом. Как Россию-матушку, как родимый край, как отраду своей измученной душе, Сергей любил лишь свою мать Татьяну Федоровну, – по молодости крепкую, на крестьянскую колодку скроенную, домовитую деревенскую бабу, – ей самые чистые, нежные и грустные стихи:

Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.(...)
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

И любовь к матери, как и к России, Есенин не утопил в хмельном угаре, не раструсил на лихой и ухабистой жизненной дороге; наоборот, любовь его сыновья обретает до сердечной боли печальную, до мучительного звона пронзительную силу, когда мать – *«помощь и отрада»* – стареет, когда и сам до срока постаревший, уставший от непутной жизни, тянется измученной душой к родной избушке, над которой для него вечно струится *«тот вечерний несказанный свет»*.

Вот я опять за родительским ужином,
Снова я вижу старушку мою. (...)
Много я видел, и много я странствовал,
Много любил я и много страдал,
И оттого хулиганил и пьянствовал,
Что лучше тебя никого не видал.

Разбуди меня завтра рано,
О моя терпеливая мать! (...)
Воспою я тебя и гостя,
Нашу печь, петуха и кров...
И на песни мои прольется
Молоко твоих рыжих коров,

Татьяна Фёдоровна (в девушках Титова) выросла, как на доброй опаре, в работливой семье: братья хватистые, – ничего из рук не выпадет, – умелые мужики, отец (дед Сергея Есенина) слыл знаменитым лошадником. У которого водились лучшие кони в селе и отменная, дивная упряжь. Со своим мужем, который то пропадал в Москве, то потом скучал в деревне, Татьяна Фёдоровна жила, как поминают в полу разводе, – такой муж, у коего руки не из плеч растут, а мысли витают в печальной дали, раздражал её. А уж дом и семья только и держались на материнском горбу.

Хотя, опять же, судьбу своим чадушкам выбирала и ладила не мать, а отец, и на свой *«московский»* лад, и, может быть, даже поперёк материной воли, без одобрения её крепких, приземлённых братьев. Жадных до книжной грамотности детей отдал в учение: Сергея – в трехгодичную церковно-учительскую школу в селе Спас-Клепики, а дочь Катерину – в частную московскую гимназию.

Сергей мог бы стать и сельским учителем, о чём и помышляли родители, но бесконвойный паренёк не просто раскрестьянился, как отец, но уже и боялся пропасть в константиновской глуши. А посему и убегает в Москву, где становится конторщиком у отцовского благодетеля, купца Крылова.

Молодой поэт, – а он, сызмала писавший стихи, лишь поэтом себя и сознает и кое-что уже печатает, – на первую же получку покупает себе добротный городской костюм, и не только потому, что любил форсить нарядами, а чтобы как можно быстрее распрощаться со своей деревенской обличкой, чтобы уж больше ничего не напоминало о его сельском происхождении, чтобы он уже ничем не отличался от коренного горожанина, от важного москвича. Чуть позже, дабы своеобразно войти в столичные литературные круги и завлечь читателя, издателя, Есенин ещё поиграет в сельского избяного, лапотного парня, подпустит рязанской природы, но всё это будет хитроватое скоморошество и дерзкий вызов деревенского парня заносчивым барам и чопорной гнилой интеллигенции.

Хотя в стихах, истекающих из самой души, всегда будет зорево играть, словно в сенокосных лугах и желтеющих березняках, и выстилаться сизоватым речным туманом нежная и тихая, как вечерний шёпот кленовых листьев, опечаленная тоска по любимому окраюшку земли, по отчому дому, по родимой матушке.

Поэт для сельского домовитого мира стал чуждым, а посему и покинул родимый дом, чтобы потом до самой смертушки воспевать его и плакать по *«стране березового ситца»*, зная, что обратного пути нет, – все пути отрезаны в душе и судьбе. Вот она трагедия раздвоенного бытия и сознания:

Не вернусь я в отчий дом,
Вечно странствующий странник...

Хотя:

Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда...

«Край любимый...»

Блеклое небо, голые поля и лысые холмы, а подле сонной речки избы, риги, овины, частоколы и тыны, – всё уже ветхое, морщинистое, тёмное, в старческих пятнах зеленоватого мха. Это есенинское Константиново... Где же поэт увидел дивные красоты:

Выткался на озере алый свет зари,
На бору со стонами плачут глухари.

Или:

Край любимый
Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленят твоих стозвонных.

Александр Солженицын в живописном этюде (насколько он красивее и мудрее иных его долгих и путаных романов) пишет невзрачное село Константиново: косые избы, лужа посреди улицы, пыльные и чахлые кусты, а в сельповском магазине ржавые селедки, каменные пряники и зеленые мухи, словно звери. Скука и тоска... Это не юг черноморский, не волошинский Коктебель, утопающий в неге и пышных красотах... И писатель восклицает: но какой талант метнул Всевышний на эту черствую и скудную, безрадостную землю!..

Талант талантом, но всё же где Есенин увидел на этой скучной земле, под сероватым небом столько природной красоты?.. Думать надо, лишь от переполнявшей и щемящей душу любви к этому невзрачному селу, к избе и землякам, к матери и сестрам, к сиротливым полям и реденьким березовым колкам, – только от неё, этой любви, Есенин и украшивает Константиново село и всё окрест него стихами, что как утренние зори и как песни деревенские. Мало того, Есенин даже небесную райскую обитель не может иначе и вообразить, как только с картинами родной земли:

Осанна в вышних!
Холмы поют про рай.
И в том раю я вижу
Тебя мой отчий край.

Ясно, что Константиново с невзрачными окрестными полями и чахлыми перелесками украшено любовью... Это как в чистом юношеском чувстве к своей избраннице. Кто-то сморщится: чего ты нашёл в ней?! – ни кожи ни рожи... Но для любящего она, его избранница, что ромашка в поле, свет в окошке. Она любовью рождена, любовью же украшена, – сотворена. Так и Константиново...

Даже прохладный, спрятанный в самом себе, вроде бы, и далёкий от деревенской природы, Александр Блок, в приступах любви к своему *странному* Отечеству, вдруг воскликает в лад Есенину:

«Здесь от края и до края – чахлый кустарник. Пропадёшь в нём, а любишь его смертной любовью. Выйдешь в кусты, станешь на болоте, и ничего-то больше не надо».

И любишь отчего-то вдруг пронзительней, нежней, когда теряешь. Помните, как высоко и трогательно пишет Есенин о своей земле, о селе, о матери и об избе, когда вдруг чувствует с болью, что теряет их из своей души.

Но, погребальной грусти внемля,
Я для себя сложил бы так:
Любил он родину и землю,
Как любит пьяница кабак.

Россия – с плавным и мягким, девьими станом рязанского села, будто накинувшего яркий полушалок, – была единственной любовью Есенина, которой он не изменил, даже богохульствуя, даже и заживо пропадая в Москве кабацкой. Он уберёг эту любовь, как тёплый огонёк лампадки во мраке душевного раздора. Есенин писал:

«Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к Родине. Чувство Родины – основное в моем творчестве».

И тут же с вызовом – зубодробильному Маяковскому:

«Россия моя, ты понимаешь моя, а ты... ты американец. Моя Россия... Ляжет в литературе бревном, и все об него спотыкаются...»

«Ждали хама, глупца непотребного...»

Есенин явился в смуту и разгул интеллигентской поэзии, прозванной *серебряной*. Интеллигенция тогда и оседлала общественную мысль, и мысль эта, обезбоженная, неслась, как библейские свиньи, в коих бес вошёл, летела в пропасть, увлекая за собой народ. Впрочем, те из народа, кто был в трезвом уме и ещё от Церкви не отбился, звали это опасное сословие *гнилой интеллигенцией*, а самые рьяные из простонародья и вовсе били тех, кто носил очки. Их и прозвали черносотенцами, охотнорядцами.

Святой Иоанн Кронштадтский в грозных и пророческих словах интеллигенцию предал анафеме:

«Не стало у интеллигенции любви к Родине, и она готова продать её инородцам, как Иуда предал Христа злым книжникам и фарисеям, уже не говорю о том, что не стало у неё веры в Церковь, возродившей нас для Бога и Небесного Отечества.»

Итак, Есенин влетел прямо в *серебряный* век интеллигентского искусства – в гнусавый и слюнявый декаданс, в железный скрежет футуризма, в безродный, пахнущий могильной плесенью, слащавый романтизм, изошрённый разврат поэтических салонов, в прокуренную и пропитую, брехливую, хвастливую богему. Но были там, конечно, и несомненные таланты: и студёный Блок, которому надоели эти обезьяны, – чернь простонародная; и мелкопоместный, но высокомерный дворянин и честолюбивый писатель Бунин; и Андрейев, душу и разум которого стремительно пожирал князь тьмы и который, впадая в безумие, пугал рассказами великого Толстого, а тому было не страшно; и презирающий крестьян, бродяга, материалист-социалист Алеша Пешков; и пропахший древне-латинской книжной пылью академик Брюсов; и истомленная воспетыми грехами Ахматова; и утонувшая в демоническом искусстве – зауми и прелести – больная Цветаева; и скрежещущий железными, пролетарскими зубами Маяковский; и другие, менее талантливые, но не менее больные.

И они его, Есенина, поэта деревенского, поначалу и не высоко оценят, потому что не смогут и понять, как и народ свой не смогли понять, да и не утруждали себя этим, утонувшие в своих больных мирах. Усмехаются Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, – гой еси, Лель златокудрый в жёлтых лапоточках... – просят сплясать «камаринского мужика». Но парень деревенский тоже был не промах, тоже себе на уме, и пока терпел, потому что чуял, знал: завтра многие почтут за счастье пожать его мужичью руку, будут заискивать и величать. Но по-первости они ещё куражились над парнем и шептали: дескать, оно, конечно, самородок и прочее такое, но... тёмный, неотесанный, без приличного образования. Понимает Есенина лишь его учитель Клюев Николай (это потом придет мучительный разрыв, в причинах которого, как в ворохе поношенного белья, может быть, и не стоит копаться); поймут Есенина и крестьянские поэты из «Красы» – их будущего братства, как, может быть, понимали, жалели и переживали за него, писатели здорового (по сути своей, славянофильского) русского крыла: Шмелев, Зайцев, Куприн... Но, как в жизни и бывает, молодого поэта, словно белокрылого, лесного метляка, несёт в пожирающий демонический костер...

Тогда же Клюев – хотя и порой духовно невнятный, перемешавший северное скитское старообрядчество со славянским язычеством, но всё же волшебник древнерусского словесного узора,

Ждали хама, глупца непотребного,
В спинжаке, с кулаками в арбуз,
Даль повыслала отрока вербного,
С голоском слаще девичьих бус. (...)
Он поведал про сумерки карие,
Про стога, про отжиночный сноп.
Зашипели газеты: «Татария!
И Есенин – поэт-юдофоб!»

Если вначале Есенин подыгрывает салонной литературной богеме, изображая сельского паренька, то, вскоре оперившись, бросает с грубым вызовом:

Посмотрим –
Кто кого возьмет!
И вот в стихах моих
Забила
В салонный, выхолощенный
Сброд
Мочой рязанская кобыла.
Не нравится?
Да, вы правы –
Привычка к Лориган
И к розам...
Но этот хлеб,
Что жрёте вы, –
Ведь мы его того-с...
Навозом...

Итак, дворянско-интеллигентский салон счёл Есенина, хотя и народно и природно даровитым, но поэтом без должного образования, – одно слово, лаптем щи хлебает, рязань кособрюхая. Но так ли это было?.. О ту пору жили, хотя и с трудом уживались, и помянутое нами просвещение, условно называемое книжным (от него народу выпало немало лиха), и просвещение народное – мудрость, где могло и не быть книжной грамотности, но где, как небо и земля, сливались в сердце и уме простолюдина православное и народно-обрядовое, природное знание, – суть, домострой. У Есенина изначально и была эта народная просвещенность или, скажем, крестьянская мудрость. (Другое дело, что он не уберёг ее в себе в полноте и чистоте, палимый честолюбием, закрутившись в хмельной и суетной столичной жизни.) Ранний и яркий, певучий талант – и всё от *золотой* избы, полей и перелесков, от алых зорь, пылающих закатов, от пения и говора народного, которые по тем летам были ещё щедры и величавы.

Уже в пятнадцать лет Есенин сочинит:

Выткался на озере алый свет зари,
На бору со стонами плачут глухари..
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется – на душе светло.

Иной бы нынешний поэт вздохнул: такое стихотворение написать и помирать не страшно, – не зарыл в землю талант.

А в шестнадцать Есенин напишет:

Хороша была Танюша,
Краше не было в селе...

Потом будет вспоминать:

«Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное творчество отношу к 16 - 17 годам...»

А что до книжного образования, то читать Есенин начал лет с пяти, а потом много добирал самоуком. Первыми книгами поэта, конечно же, были Священное Писание, «Жития святых и преподобных отец наших», то есть «Четьи-Минеи святителя Димитрия Ростовского» и духовные стихи. Потом уже появились былины, бывальщины, сказы и сказки. Среди его любимых произведений, по воспоминаниям родных, были «Слово о полку Игореве», «Поэтические воззрения славян на природу» Александра Афанасьева, и, конечно, русская классическая проза и поэзия, опять же близкая к народной жизни, в духе Гоголя, Лескова, раннего Толстого, Кольцова, Сурикова, Дрожжина.

Словом, Есенин по тем временам для крестьянского сына был достаточно образован. Только начитанность и глубокие философские раздумья о судьбе русской культуры могли породить «Ключи Марии» – научный труд (не станем пугаться эдакого величания), где есть, конечно, мировоззренческая, а для христианина даже и еретическая путаница в толковании мира, в слиянии неслиянного (язычества и христианства), где есть, конечно, и лихая, часто искусственная, имажинистская метафоричность (недаром «Ключи...» и посвящены «*никотинному другу*» Мариенгофу, который цинично баловался со словами и чувствами). Немало там ребячества, пустого мудрствования, но и немало интуитивных открытий из истории развития русского духа и слова. А главное, в «Ключах Марии» Есенин выразил предвиденье лихой поры, когда штемпелеванная или, как нынче говорят, массовая поп-культура, словно бесы, войдёт в народ и погонит в пропасть.

«Стыдно мне, что я в Бога верил, Горько мне, что не верю теперь»

Однажды некий иркутский поэт, мастер легкого, иронического стиха, раздраженно доказывал, что христианин не может быть поэтом, и наоборот, пишущий стихи перестанет быть христианином. То есть христианское начало в душе несовместимо с художественным, ибо, как мы уже говорили вначале, *искусство – иску*с демонский. И тут поминались наши православные святые, старцы неодобрительно относящиеся к *искусству*.

Есть тут доля правды (но не вся правда): многие русские писатели, как мне представляется, так и прожили с мукой раздвоенного сознания, несовместимости в себе христианского и художественного начал.

Священное Писание учит любви к Богу и даёт человеку нравственные правила жизни на земле ради бесплотной и вечной, истинно счастливой жизни души за гробом. Искусство толкает человека в смуту, блуждания, нравственный тупик, и наконец, – в вечные муки души за гробом.

Но есть и тут исключения: иконопись, духовная поэзия и проза, где совершенно гармонично уживаются христианское чувство и художественное. Есть подобные примеры и в светском искусстве. Вспомним хотя бы художников Иванова с его «Явлением Христа народу», Нестерова с его «Явлением отроку Варфоломею»; перечтём у Ивана Шмелёва (кстати, современника Есенина) «Лето Господне» и «Богомолье»: перед нами, читателями, русский, глубоко православный человек и художник, в красоте слова не уступающий ни Куприну, ни Бунину. В конце концов, при всех искренних и страстных душевных муках своего несовершенства христианского, жил и творил с идеалом Христа Фёдор Достоевский, с этим идеалом завершил свой век и Николай Гоголь. Да и у многих других именитых русских писателей прошлого века (и прежде всего у Пушкина, и даже у Лермонтова, порой и

страдавшего демонизмом), мы найдём немало произведений, про которые можно сказать, что здесь талант от любви к Богу и ближнему, к Руси, слышащей Глас Божий.

Николай Гоголь – и сам великий поэт даже и в прозе – писал поэту Языкову о русском лиризме, где печаль светла, без грешного унынья:

«Вновь повторю то же самое: в лиризме наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций, именно – что-то близкое к библейскому – то высшее состояние лиризма, которое чуждо увлечений страстных и есть твердый взлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости. (...) Наши поэты видели всякий высокий предмет в его законном соприкосновении с верховным источником лиризма – Богом, одни сознательно, другие бессознательно, потому что русская душа вследствие своей русской природы, уже слышит это как-то сама собой, неизвестно почему.»

Чтобы уж окончательно доказать, что искусство может служить и высшей божественной любви, – порой и не прямо, как молитва, а уже и проповедью любви к «други своя», обращением к земной совести, – возьмём, опять же, устное народное творчество, в котором бесчисленное множество произведений, где, как сказал Достоевский, *«поэт не ниже Пушкина»*. Оно, народное творчество, уже через век после крещения Руси, было одухотворено верой во Спасителя.

Обратимся к былинам – где высший взлёт народной поэзии – везде там верховенствует идея святой, православной Руси; за неё перво-наперво и готовы сложить буйны головы богатыри святорусские.

Илья Муромец (его прототип – знаменитый на Руси ратник-дружинник, а потом инок Киево-Печерского монастыря, святой преподобный Илия Муромец, по прозвищу Чоботок,) – истинный христианин, проскакавший по бранным полям, будто под крылом Михаила Архангела, Небесного Покровителя Земли Русской.

– Ох, ты гой еси, родимый батюшка!
Дай ты мне свое благословеньице,

– просит Илья своего отца, карачаровского крестьянина Ивана Тимофеевича,

– Я поеду в славный стольный Киев-град,
Помолиться чудотворцам Киевским...
Постоять за веру христианскую...
Все былины указывают на глубокое христианское чувство Ильи:
Взмолился стар казак Илия Муромец
Тому угоднику Божьему Николаю:
– Погибаю я за веру христианскую!
У Илейки силы вдвое прибыло...

Подобное из народной поэзии, где в основе христианское мировоззрение, можно приводить бесчисленное множество.

Но вернёмся к нашему любимому поэту Сергею Есенину... Несмотря на то, что Есенин стал для жиганов-воров, богохульников чуть ли не идиолом, начинал он всё же как поэт с православным мироощущением и мировоззрением, может быть, лишь слегка замутнённым народно-обрядовой стихией; и – странно это или не странно – в ранней юности даже имел мечтательную тягу к смиренному иночеству, к духовному подвигу, к отречению от суетного мира ради служения Богу. Разумеется, тут больше, от светлой мечтательности, не от готовности и жажды монашеского подвига, и, тем не менее, это жило в душе юного поэта.

Проходили калики деревнями,
 Выпивали под окнами квасу,
 У церквей пред затворами древними
 Поклонялись пречистому Спасу. (...)
 Полюбил я тоской журавлиною
 На высокой горе монастырь... (...)
 Пойду в скуфье смиренным иноком...(...)

Христианское начало в ранней есенинской поэзии обрело даже и грозную, духовно-оборонительную страсть, подобную той, которая укрепляла былинного богатыря Илью Муромца перед битвой с хазарско-иудейским богатырем, нахвальщиной Жидовином: «Я за веру стоял да Христовую, // Я за церкви стоял да за соборные...» Эта оборонительная мистически-православная страсть в Есенине была и сродни грозным поучениям праведного Иоанна Кронштадского, которому о ту пору как раз и внимала вся православная *русь*, как нация. У Есенина это выразилось в стихотворении «Певущий зов», посвященном Рождеству Христову и написанном, что символично, в семнадцатом году, в предреволюционном Петрограде:

О Родина,
 Мое русское поле,
 И вы, сыновья, ее,
 Остановившие
 На частоколе
 Луну и солнце, —
 Хвалите Бога!
 (...) Сгинь, ты, английское юдо,
 Расплещися по морям!
 Наше северное чудо
 Не постичь твоим сынам!
 Не познать тебе Фавора...

Здесь поэт созвучен не только крестьянскому сыну, казачьему атаману, а потом смиренному иноку Илие Муромцу (в былинах Илья Муромец – собирательный образ русского народа), но и великому православному писателю, митрополиту Иллариону, что в своём порывистом, но мудром «Слове о Законе и Благодати» показывает спасительность для души христианской Благодати и пагубность иудейского Закона. Митрополит Илларион утверждает: *«...Ибо иудеи о земном радели, а христиане же – о небесном...»*

Впрочем, у юного Есенина молитвенное настроение вдруг сменялось язычески разгульным, – и это в русском характере искони – что и выражалось в поэзии. Вспомним:

Зацелую допьяна, изомну, как цвет,
Хмельному от радости пересуду нет.

Не обошла Есенина стороной и бывшая тогда в большом ходу идея христианского социализма. Если у Александра Блока при описании революционной дружины – *«...В белом венчике из роз // Впереди Иисус Христос...»*, то у Есенина в стихотворении о мальчике Мартине (сыне бедного рабочего) Христос – товарищ угнетенных, бьется против буржуев *«за волю, // За равенство и труд!»*, за республику, и гибнет в революционной схватке:

Но вдруг огни сверкнули...
Залаял медный груз.
И пал, сраженный пулей,
Младенец Иисус.

* * *

Есенин вырос в русской патриархальной, воцерквлённой семье. О чём и вспоминал: *«Бабка была религиозная, таскала меня по монастырям. Дома собирала всех увечных, которые поют по русским селам духовные стихи от «Лазаря» до «Миколы».*

Но уже в детстве талантливому, охочего до чтения и учения отрока искушал демон сомнения. С одной стороны, богомольная бабка водила его по монастырям и по церквам, а дедушка *«по субботам и воскресным дням рассказывал Библию и священную историю»*, с другой стороны, отрок *«рос озорным и непослушным; был драчун; в Бога верил мало. В церковь ходить не любил».*

К этому надо прибавить и то, что в Есенине бродили, так – чего греха таить – и неугасшие за десять веков после Святого Крещения природно-языческие страсти:

Матушка в Купальницу,
По лесу ходила,
Босая, с подтыками,
По росе бродила.(...)
Вырос я до зрелости,
Внук купальской ночи.
Сутемень колдовская
Счастье мне пророчила.

Словом, боголюбие в Есенине была замутнено. В семнадцать лет он пишет из Москвы своему другу Грише Панфилову:

«Гриша, в настоящее время я читаю Евангелие и нахожу очень много для меня нового... Христос для меня совершенство».

Но тут же в его размышления проникает богопротивная ересь, неведомо откуда подхваченная, похожая на ересь и ренановскую, и толстовскую, когда мистически непостижимый, растворённый в мире и в наших душах Бог понимается, как человек. Есенин приписывает:

«Но я не так верую в него, как другие. Те веруют из страха, что будет после смерти. А я чисто и свято, как в человека, одаренного светлым умом и благородною душою, как образце в последовании любви к ближнему».

Мучительный распад и разлад в есенинской душе, – порождённый ещё в отрочестве и усиленный чтением светских книжек, – нарастает, чему сопутствует и время богоборчества в России; а порой, случается, демоническая ночь и вовсе затмевает в его душе божественный небесный свет. День сменяет долгая, злая, отчаянная ночь... И рождается в самый разгар большевистской атеистической одури поэма «Инония», где поэт надсадно кричит:

Тело, Христово тело,
Выплываю изо рта.

Не упомяну, как в мировом искусстве, но в русском такого богоборчества – демонически-гениального, народно выраженного, – до Есенина, кажется, не было, если не брать в расчет пошлую и богохульную «гаврилиаду», от которой, божась, открестился Пушкин. Ибо, как писал великий наш философ Иван Ильин, **русское искусство и вся многовековая русская культура «слагалась и крепла и расцветала в духе Православия. Русское искусство всё целиком выросло из свободного сердечного созерцания. Надо увидеть сердцем ту глубокую связь, которая соединяет русскоправославных Святых и Старцев с укладом русской простонародной и образованной души. Весь русский быт – иной и особен-**

ный, потому что славянская душа укрепила свое сердце в заветах Православия. И самые русские инословные исповедания (за исключением католицизма) восприняли в себя лучи этой свободы, простоты, сердечности и искренности».

Где-то искренне, где-то из попыток приспособиться к богоборческим властям, захватившим Россию, Есенин чуть ли не до самой смерти кается в своей ранней религиозности, – «...и молиться не учи, не надо, к старому возврата больше нет...» – и доходит тот до того, что уже почти готов отречься от своей крестьянской православной среды. Незадолго до смерти признаётся:

«Самый щекотливый этап – это моя религиозность, которая отчётливо отразилась на моих ранних произведениях. Этот этап я не считаю творчески мне принадлежащим. Он есть условие моего воспитания и той среды, где я вращался в первую пору моей литературной деятельности. Он (*дед, – А.Б.*) с трёх лет **вдалбливал** мне в голову старую патриархальную церковную культуру. Отроком меня **таскала** по всем российским монастырям бабка.» (*Выделено мною, – А. Б.*)

Вот такие отмашистые выражения, – *вдалбливал, таскала*, – словно всё творилось силком, против воли малого.

И ещё одно признание:

«Рано посетили меня религиозные сомнения. В детстве у меня были очень резкие переходы: то полоса молитвенная, то необычайного озорства, вплоть до богохульства. И потом в творчестве моём были такие полосы».

Да все случилось: была и *«грусть по небесам»*, были и росписи стен Страстного монастыря похабными частушками и сочинение богоборческой «Инонии», что, как сказал некий снисходительный критик, вполне объяснимо *«в атмосфере безбожного бесовского шабаша»*, *«когда повсеместно разрушались храмы, осквернялись иконы, преследовалось православное духовенство».*

* * *

Искренне приняв революцию, поскольку так же искренно не принимал господствующих сословий, позже, уже не понимая происходящего в России, растерявшись и отчаявшись, забываясь во хмелю и скандаля, Есенин ещё так-сяк старался быть или казаться своим для тогдашнего ленинского правительства, сплошь инославного, люто ненавидящего Православие. Клял царский *прижим* и клялся в своей верности большевистскому режиму.

Небо как колокол,
Месяц – язык.
Мать моя родина,
Я большевик.

И, понося монархию, даже Ленина воспел в поэме «Гуляй-поле» (впрочем, величие вождя невольно обрело потешные, карикатурные черты, – может, и от того, что было тут некое насилие над своим творческим духом; и вообще, здесь языковое, поэтическое чутье Есенину заметно изменило и, похоже, неслучайно):

Монархия! Зловещий смрад!
(...)Народ стонал, и в эту жуть
Страна ждала кого-нибудь...
И он пришёл. (...)
И не носил он тех волос,
Что льют успех на женщин томных,
– Он с лысиною, как поднос,
Глядел скромней из самых скромных. (...)
Он мощным словом
Повел нас всех к истокам новым.

Но клятвы верности не помогли, – в гостинице «Англетер» Есенина убили. Но если бы убийства не случилось, то он, Бог и весть, как бы он завершил свой век, яркий, как вспышка зарницы над рязанскими полями, короткий, путаный, скачущий, бешено закусив удила. Может быть, и где-то на Соловецких островах...

Дорога была цена его художества, его попыток сблизиться с инославными комиссарами; дорога была цена дозволенной до поры до времени, шумной славы в стране, где правят негодяи (вспомним его же и поэму «Страна негодяев»); ценою славы стала душа, а потом жизнь.

Критик Александр Воронский, писавший о том, как русский народ любит народную, почти сказовую, искреннюю, страстную поэзию Есенина, тем не менее, вспоминает:

«На загородной даче, опившийся он (Есенин, – А. Б.) сначала долго скандалил и ругался. Его удалили в отдельную комнату. Я вошел и увидел: он сидел на кровати и рыдал. Всё лицо его было залито слезами. Он комкал мокрый платок.

-У меня ничего не осталось. Мне страшно. Нет ни друзей, ни близких. Я никого и ничего не люблю. Остались одни лишь стихи. Я все отдал им, понимаешь, все. Вон церковь, село, даль, поля, лес. И это отступилось от меня».

Душевное омертвление Есенин выразит и в стихах:

Ты прохладой меня не мучай,
И не спрашивай, сколько мне лет,
Одержимый тяжёлой падучей,
Я душой стал, как жёлтый скелет.

Падучую болезнь русские понимали только так: *бесы вошли к корежат несчастно-*
го.

Есенинская душа, прежде чем спалилась в костровых языческих страстях, в грехах и пороках (*в демонском искусе*), как бы прошла через несколько ступеней духовного прельщения, и они ясно выражены в его же четверостишии:

Грубым дается радость,
– это его жизнерадостная, язычески плотская, певучая ступень.

Нежным дается печаль,
– это романтическая, платоническая ступень.

***Мне ничего не надо,
Мне ничего не жаль,***

– это уже тупик; и хотя стихотворение и дальше продолжается, но уже не выводит читателя из холодного угла.

После таких строк обезбоженному мученику белого света самое время пойти и застрелиться или повеситься, – жизнь бессмысленна. Хотя, кажется, всё же, на самоубийство Есенин мог бы и не пойти: не дало бы совершить это так и не вытравленное до конца христианское чувство в душе, ибо самоубийство – великий грех: человек не воле распоряжаться жизнью, дарованной Свыше. Но это лишь предположение.

«Россия, сердцу милый край, Душа сжимается от боли...»

Величие Есенинской поэзии не только даже в её гениальности, с точки зрения народности и художественности, а в том, что он, как никто иной в нынешнем веке, так ярко и мощно показал русскую душу в её божественных взлетах и хмельных, отчаянных падениях в смердящую пропасть духа, в её омерзительных грехах и сотрясающих душу раскаяньях.

Самые пронзительные стихи Есенина – уже позднего, смертельно уставшего – душераздирающий стон по своей душе, а значит и по душе русской, теряющей божественный свет; это и плач по *крестьянской* (суть, *христианской*) жизни.

Россия! сердцу милый край!
Душа сжимается от боли.

Читаешь воспоминания о Есенине его друзей, а так же прихлебателей, искусителей и, просто, собутыльников; читаешь письма его родных и возлюбленных, и аж мороз по коже! Не тихая, как речная заводь, светлая, березовая, лунная печаль охватывает, а – мертвящий ужас. И начинаешь понимать, что всё написанное о нём доброхотами, приукрашенное любовью к нему, – всё это лишь чудное щебетанье воробьиное, воркованье голубиное. (Хотя и взбалмошной была Айседора Дункан, но, налюбившись и намаявшись с Есениным, как горько и верно, указывая на грудь Есенина, воскликнула: «Здесь у него Бог», а показав на голову, вздохнула: «Здесь у него дьявол».) Похоже, душу Есенина – где не на живот, а на смерть билось божественное с демоническим, где часто демон властвовал, – душу эту мог постичь и описать один лишь Фёдор Достоевский. Сам Есенин не был поклонником писателя Достоевского, да и Толстым не увлекался (*будучи женатым на Софье Андреевне Толстой, угнетался портретами «великого старца», нравоучителя, сурово глядящего со стен*); поэт любил Николая Гоголя (да и то раннего, без его духовно-православной прозы); но тем не менее по душевному борению ближе всех к нему стоял Достоевский. Они переживали похожие внутренние муки, – муки раздвоения, но если Федор Михайлович никогда не терял из души идеал Христа и маялся больше своим духовным несовершенством, слабостью веры, то Есенин шагнул дальше, – к ереси, потом к богохульству и богоборчеству.

Но, думаю, в душе в душе раскаялся, а посему и будем, молясь за него, повторять и повторять, – никогда свет божественный полностью не покидал душу поэта.

Душа грустит о небесах,
Она нездешних нив жилица...

И в своём завещании Есенин просит тех, кто будет с ним при последней минуте:

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверия в благодать,
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.

Есенин: Америка, «она – страна негодяев»

Сознание Есенина разорвано в клочья, которые не собрать воедино, ибо во всём у него противоречия. Виною тому вино, срифмовал бы поэт и прибавил, да к тому же дурное окружение, – чуждые люди лезут в его душу, копошатся в ней, как в своей. Но и время было такое: Россия на дыбах, и всё в ней поставлено с ног на голову, и душу уберечь, что духовный подвиг свершить.

Словно тройка коней оголтелых,
Прокатилась во всю страну.
Напылили кругом, накопытили,
И пропали под дьявольский свист.

Оголотелое время сбило поэта с ног. Противоречивым становится даже само отношение Есенина к русской деревне. Его уже раздражает она, староукладная, о чем он и пишет, вспоминая путешествие в Европу и Америку:

«Вспомнил про «дым отечества», про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами, вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за «Русь», как за грязь и вишивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию».

Нет, разлюбить ее и убогую Есенин уже не сможет; и до самого последнего часа будет печалиться и плакать по избяной, ржаной и конской, сермяжной Руси, и трогательно до слёз вспоминать мокрогубого телёнка, лежащего в углу на жёлтой соломе, потом шатко расхаживающего по избе, как будет вспоминать и «смешного дуралея» жеребёнка, бегущего за паровозом, пытаясь обогнать стальную машину.

И будет он еще воспевать деревню, исконно-русскую, конно-гужевую; и будет в нём и страх за неё, тихую и мирную, перед жестоким и холодным, стальным напором грядущей технической цивилизации. Лев Николаевич Толстой, крестьянствующий, помнится, как увидел «чугунку» (железную дорогу), так в страхе и воскликнул, что это начало конца России, да и всего человечества. Толстой, как к Есенин позже, как бы предвидел, что техническая цивилизация принесёт много горя всему живому на земле и душе человеческой: **искусственные** воздух, вода, одежда, еда, – **искусственные** люди, **искусственные** отношения, – опять кругом всё тот же **демонский искус**, и ничего здорового, природного и натурального. А за весь этот **искус**, – омертвелая душа и короткий и маятный век.

Но Есенин понимает и неизбежность технического прогресса, как и чует крестьянской душой, что не сможет он, этот прогресс, жить в согласии с природой и душой человека, — он их погубит. Моторную цивилизацию, – превращающую человека в рабское колесико адской машины, в бездушного робота, зарабатывающего деньги, жрущего, пьющего, тонущего в смраде пороков, – такую цивилизацию Есенин увидел в Соединенных Штатах Америки. «Железный Миргород» – так он назвал Штаты в своей статье.

На чудовищно огромном пароходе «Париж», – где «*корабельный ресторан (...) площадью немного побольше нашего Большого театра*», – в его железной туше Есенин с танцовщицей Дункан приплывает в Америку...

«Через час глазам моим предстал Нью-Йорк.

Мать честная! До чего бездарны поэмы Маяковского об Америке! Разве можно выразить эту железную и гранитную мощь словами?!»

Есенин размышляет: а процветает ли в этой «железной и гранитной» империи хваленая свобода?.. – о ней американцы с пеной у рта вопят на весь мир, который подмяли под своё жирное пузо. Вот Есенинское мнение после нью-йоркских впечатлений:

«Утром нас отправили на Элис-Аленд. Садясь на маленький пароход в сопровождении полицейских и журналистов, мы взглянули на статую свободы и прыснули со смеху. «Бедная, старая девушка! Ты поставлена здесь ради курьеза!» – сказал я. Журналисты стали спрашивать нас, чему мы так громко смеемся. Спутник мой перевел им, и они тоже засмеялись».

Словом, торчит идол «свободы» ради, горького смеха, а самой свободы и в помине нет; и если типичный американец и свободен, то... лишь от совести и чести. И тут невольно вспоминается смешное и грешное, как наш будущий президент Ельцин, возможно, во хмелю, трижды облетел статую свободы в Америке и стал втрое свободнее. От чего душа его стала свободнее, нетрудно догадаться, если глянуть на преданную, проданную и разорённую Россию.

* * *

В Нью-Йоркской гостинице – «шик, блеск, тру-ля-ля» – сказителя из рязанской деревни встречает еврейский поэт Давид Бурлюк, некогда русскоязычный российский модернист и авангардист, некогда и убежавший из мятежной России. (Растопили кровавую баню в России, и – будто крысы с тонущего корабля, а русские отдувайся...)

Давид Бурлюк приходит к Есенину и Дункан вместе с Морисом Осиповичем Мендельсоном, критиком и литературоведом. (Господи, сколько их, иноверных, презирающих Россию, липло к Есенину, – всех этих дивидов бурлюков, мендельсонов, шнейдеров, райхов, лившицей, мейерхольдов, безыменских, лебединских, повицких, эрлихов, шершеневичей, берзиней; они выклевали душу рязанского поэта, выпили его очи. Хотя, Есенин не всегда был в этом деле овечкою невинной: принимая их в свою поэтическую судьбу и душу, думал перехитрить «давидов» своим мужицким умом; думал, они сотворят ему славу, но жестоко просчитался. Впрочем, опять же, иных он, похоже, искренно любил, а иногда одевал ласковую маску, натужно изображая широту взглядов и пугаясь юдофобии в себе, пряча её. А потом, с «давидами» исправно вершились практические дела, с ними же было весело кутить и под их одобрительный гул богохульствовать и хулиганить.)

И вот Давид Бурлюк и Морис Мендельсон приходят в гостиничный номер, где и поселилась странная и трагически несовместимая чета Есенины-Дунканы. Мендельсон так описывает примечательную сцену:

«Разговор с Есениным, как и следовало ожидать, начал Бурлюк. И сразу беседа эта стада какой-то вымученной и явно нерадостной для обоих участников. В речи Давида Давидовича появились заискивающие нотки. И сидел он очень напряженно, на самом кончике стула.(...) Неужели Есенин увидел в Бурлюке подобие типичного американского коммивояжера? Нет, здесь было дело, вероятно, в чём-то другом... (...)

И, наконец, вопрос Бурлюка, повторенный Бог знает, в который раз («Так что же желал бы Сергей Александрович увидеть в своеобразнейшем городе Нью-Йорке?»), вызвал у Есенина особенно резкую вспышку. Он (...) объявил: никуда он здесь не хочет идти, ничего не намерен смотреть, вообще не интересуется в Америке решительно ничем.»

Нет, Есенин не только оглядит Америку, но и осмыслит ее и опишет в статье «Железный Миргород», напечатанной в двадцать третьем году в газете «Известия»:

«...Американский фокстрот есть не что иное, как разжиженный национальный танец самба. В остальном негры – народ довольно примитивный, с весьма необузданными нравами. Сами американцы – народ тоже весьма примитивный со стороны внутренней культуры. Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам. Американец всецело погружается в бизнес и остального знать не желает. Искусство Америки на самой низшей степени развития.(...)»

Для русского уха и глаза вообще Америка, а главным образом Нью-Йорк, – немного с кровью Одессы и западных областей. Нью-Йорк на 30 процентов еврейский город. Евреев главным образом загнала туда судьба скитальчества из-за погромов. (...)

Сила железобетона, громада зданий стеснили мозг американца и сузили его зрение».

Как это современно звучит. Вот что такое Америка, которая себя навязывает миру мечом и обманом...

Америка, как апокалипсис человечества, омертвления живого мира, долго будет тревожить душу поэта. Он будет думать о ней даже тогда, когда будет писать свою поэму «Страна негодяев», хотя и посвященную благородному «разбойнику», крестьянскому заступнику батьке Махно. Софья Андреевна Толстая-Есенина вспоминала:

*«Замысел пьесы «Страна негодяев» всё время менялся по ходу работы. (...) Расширение замысла (...) произошло после его поездки в США, о чём он мне не раз говорил... Есенин рассказывал мне, что он ходил в Нью-Йорке специально посмотреть знаменитую нью-йоркскую биржу, в огромном зале которой толпятся многие тысячи людей и совершают в обстановке шума и гама сотни тысяч сделок. «Это страшнее, чем быть окруженным стаяей волков», – говорил Есенин. – Что значит наши маленькие ворюшки и бандюги в сравнении с ними? **Вот где она – страна негодяев!**»*

И в этой поэме у Есенина слились в негодяйстве и американский буржуа-коммерсант, и большевик Чекистов (прообраз Лейбы Троцкого), «еврей из Лейпцига», циничный материалист, ненавидящий Православную Церковь; и оба они слуги «черного человека», Князя тьмы и зла.

Поэта Есенина за бугром воспринимали, лишь как мужа Айседоры Дункан, – по впечатлению Горького, сумасбродной, стареющей, но молодящейся танцовщицы, имевшей к тому времени мировую славу. При всей суматошности своего характера и ненасытной чувственности, Дункан, по воспоминаниям знавших её, имела душу светлую и добрую. Она, годная поэту чуть ли не в матери, вянущая женщина, – любила Есенина неистовой, закатной любовью; и она любила его не только за нежную красу и статью, и не только за талант – она любила его и матерински, видя в Есенине как бы и своего погибшего сына. Она, даже с трудом изъясняясь с Есениным по-русски, малознакомая с русским искусством, тем не менее, женским и материнским сердцем чуяла и его поэзию, и его больную душу.

Итак, *американские буржуи породили в Есенине одну лишь безгливость: у них вместо глаз доллары, голова – кассовый аппарат, считающий купюры, а сердце – кипящий котел с нечистотами, бурлящими из канализационной трубы рта.* И одной из причин безгливого отношения Есенина к американским обывателям стало их равнодушие к поэзии. И уж кровно обидело, оскорбило Есенина, болезненно самолюбивого и честолюбивого, полное безразличие американцев к *его* поэзии и к *нему* самому. (Толпы репортёров крутятся лишь возле Дуньки, так Есенин на деревенский лад дразнил свою жёнушку.) Ему было непостижимо, как же можно было не полюбить *его*, которого в России со слезами и ликованием слушали толпы читателей; *его*, которого носили на руках поклонники, а поклонницы-курсистки в любовном безумии готовы были целовать следы; *его*, которому прощались скандалы в ресторанах и долги в гостиницах, стоило ему сказать магическое: «Я Есенин»; *его*, крестьянского поэта, которого даже вождь пролетарской литературы, ко-со глядевший на крестьянство, все же назвал *«великим русским поэтом»*; *его*, которого вынуждены были принять и признать даже и правители-большевики; *его*, о котором наперебой писали газеты, издатели рвали рукописи из рук, – и как же можно было не полюбить такого поэта. Впрочем, чего было и ожидать от *слуг желтого дьявола*, для которых поэзия, – бред сумасшедшего, а в лучшем случае, – блажь, баловство бездельника.

Ну, ладно, американцы, у которых души заплыли жиром и закаменели, но Есенинскую поэзию за океаном не приняли и русскоязычные еврейские эмигранты. Морис Мендельсон вспоминает об этом:

«За год до приезда Есенина в Америку Ярмолинский совместно со своей женой, поэтессой и переводчицей Баббет Дейч, издал в переводе на английский язык сборник стихов русских поэтов. Эта антология включала и переводы нескольких есенинских произведений. Узнав об этом, поэт обратился к Ярмолинскому с просьбой издать отдельной книжкой его стихи на английском языке.

По признанию Ярмолинского, это предложение Есенина он «не принял всерьёз».(...) И переданные ему Есениным рукописи стихов остались лежать без движения. (...) Творчество поэта было чуждо супругам Ярмолинским».

Понятно, какую *«русскую»* поэзию издавала чета Ярмолинских, если в ней не нашлось место Есенину.

Вот так и покорил великий русский поэт Америку, но, побывав в «Железном Миргороде» – в «*стране негодяев*», он пуще прежнего возлюбил свою и убогую, и великую Русь.

Русь моя, деревянная,
Я один твой певец и глашатай.
Звериных стихов моих грусть
Я кормил резедой и мятой.

Всеволод Рождественский вспоминает слова поэта, возвратившегося «из-за бугра»:
«– Какого чёрта шатался я по заграницам? Что мне там было глядеть? Россия! – произнес он протяжно и грустно. – Россия! Какое хорошее слово... И «роса» и «синее» что-то. Эх! – ударил он вдруг кулаком по столу. – Неужели для меня всё это уже поздно?»

Поминая Америку, о Маяковском, с которым всю жизнь тягался, скажет, что он «*американец, а я русский*». Откровенничая с Эрлихом, прибавит:
«– Знаешь, почему я – поэт, а Маяковский так себе – непонятная профессия? У меня родина есть! У меня – Рязань! (...) А у него – шши. Вот он и бродит без дорог, и ткнуться некуда. (...) Нет поэта без родины.»

«Под чужую песню и пою, и плачу...»

Есенин принял в душу большевистский переворот, — много в его душе было близкого революционному духу, дикого, бунтарского, разинского, и даже, просто, озорного, хулиганского.

Мать моя Родина,
Я большевик....

Как и часть крестьян, из малосильных, с ленцой, и к тому же ослабших в вере православной, в полную душу поверил лукавым посулам революционеров-ленинцев; поверил по-мужичьи в благодатную страну Вырей, где и оглобля прорастёт и хлебным зерном заколосится, ежели эту оглоблю в землю пихнуть. Посулы были сладкими, хотя, как в деревне говорят, сладко в рот, да горько в сглот. Но об этом по-первости не думалось, коль в голове шало гудел октябрьский разбойный ветер. И какие призывы гремели в свисте кровавого ветра: крестьянам – земля, свобода, равенство и братство!

Земля – крестьянам!

Про это русский мужик все века думал-гадал.

Равенство!

Мужик, чего уж греха таить, страдал от социального неравенства, чуял, что для бар он, деревня битая, рабочая скотинка, чёрная кость. И крестьяне в свою очередь недолюбливали дворян (и заодно интеллигенцию), которые, по их разумению, задурили от праздности, погрязли, не каюсь, в грехах и пороках, сами свихнулись от книжного учения и маловерия и народ пошли баломутить.

Хотя Есенин – натура предельно противоречивая, – изображая из себя аристократа, щеголяя в английских костюмах, в то же время по-мужичьи презирал аристократов. (Все это в нём как-то уживалось). Всеволод Рождественский пишет о том, как однажды крестьянские поэты Клюев и Есенин были приглашены в дом графини Клейнмихель, «представительницы одного из крайних монархических течений»:

«В великолепном особняке на Сергиевской собралось общество, близкое к придворным кругам. За парадным ужином, под гул разговоров, звон посуды и лязг ножей, Есенин читал свои стихи и чувствовал себя в положении ярмарочного фигляра, которого едва достаивают высокомерным любопытством. Он сдерживал закипающую в нём злость и проклинал себя за то, что согласился сопутствовать Клюеву».

А будучи санитаром в госпитале Царского Села, имел честь читать патриотические стихи царице и царевнам, о чём, опять же, поминал с сословной неприязнью:

«Я читаю, а они вздыхают: «Ах, это всё о народе, о великом нашем мученике-страдальце...» И платочек из сумочки вынимают. Такое меня зло взяло. Думаю – что вы в этом народе понимаете?»

Если оцерквленного христианина мало волновало социальное неравенство, – последний на земле, первый у Бога в Царствии Небесном, – то отпавших от веры, каким стал и Есенин, такое неравенство приводит в ярость, толкает на бунт, – русский, кровавый и безумный.

Братство!

Этим и не нужно было мужиков соблазнять, если братчиной (общиной – по-сути, коллективным хозяйством) русские мужики жили все века. Недаром же Маркс, которого Есенин *«ни при какой погоде не читал»*, в своё время говаривал, что, мол, в России и революции социалистической не нужно, коль там уже есть готовая, почти социалистическая форма труда и быта – русская община.

Свобода!

Есенин, как и часть крестьян, потерявших страх Господень, *побежал* за большевиками, *«задрав штаны»*. И брёл за ними даже в последние годы, когда уже терял в них веру. Дункан за границей, указывая на Есенина, говорила: *«Он коммунист»*. На что поэт отзы-

вался: дескать, он еще *левее* коммунистов. И это он, обычный Есенин, – полный противоречий и несовместимостей.

Есенин, как и, опять же, часть крестьян, пошёл за большевиками по причине того, что, как некогда бунтари Разин и Пугачев, *искусился языческой свободой*, то есть, *внешней* волей – куда хочу, туда и ворочу, и Помазанник Божий мне не указ. Но духовно трезвенные крестьяне понимали лишь свободу во Христе, то есть, внутреннюю, когда ты лишь раб Божий, когда стараешься быть свободным от бесчисленных злых *искусов*. Святейший патриарх Тихон, за Христову Церковь принявший мученическую гибель от рук богоборческой ленинской власти, так писал об этом: *«А вот мы, к скорби и стыду нашему, дожили до того времени, когда явное нарушение заповедей Божиих уже не только не признаётся грехом. Но и оправдывается как законное».*

Но слишком много в рязанском поэте было от шалого славянского язычества, недаром же так любил «Поэтические воззрения славян на природу» Афанасьева. И недёшево стоило Есенину и многим крестьянам это искушение языческой свободой, какая всегда выливается во вседозволенность, в оправдание убийства, насилия, греха и порока. Дорого стоил нашему народу этот *искус* – языческая воля, ибо тут и были дьявольские сети, которые расставили большевики, в которые крестьяне и угодили, куда попал и наш поэт. Забрыкались, зашумели, ан поздно, – ярмо рабское, какого не знали и при крепостном праве, уже накинута на шею. А тех, кто взялся было за топоры и колья, подавили огнём и мечом.

Знакомясь с Александром Воронским. критиком, публицистом и издателем, Есенин сказал:

«– Имейте в виду, я знаю, – вы коммунист. Я – тоже за Советскую власть, но я люблю Русь. Я – по-своему. (как эсер, с крестьянским уклоном, – А.Б.) Намордник я не позволю надеть на себя и под дудочку петь не буду. Это не выйдет».

* * *

А позже, не шибко и тая свою приязнь, Есенин становится почитателем батьки Махно. Этот, ещё маловедомый нынешнему читателю мужичий предводитель, бил по началу белых (угнетателей крестьян), а потом поднялся и на красных (тоже угнетателей крестьян). Когда поэт скорбит о том, что стальной конь (паровоз) победил *«смешного дураля»* жеребёнка, – то есть, обогнал коня живого, мужичьего, – то видит батьку Махно, который сражался за Русь избяную и соломенную против демона *«железной»* цивилизации.

В августе двадцатого года Есенин пишет девятнадцатилетней девушке Жене Лившиц, размышляя о Махно:

«Конь стальной победил коня живого. И этот маленький жеребёнок был для меня наглядным, дорогим, вымирающим образом деревни и ликом Махно. Она и он в революции нашей страшно походят на этого жеребёнка, тягательством живой силы с железной... Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжёлую эпоху умерщвления личности как живого».

В поэме «Страна негодяев» Есенин в образе Номаха и выводит крестьянского верховода, народного бунтовщика батьку Махно (*Номах-Махно – тут лишь слоги переставлены*), который бьётся с негодяями, навроде Чекистова (*Лейба Троцкий*).

«Дайте мне на Родине любимой, Все любя, спокойно умереть»

В России мрачные позимки – ленинский террор, который похлеще сталинского, ибо в первом случае, истребление русского национального, во втором – карающий меч опускается на инославную ленинскую гвардию... хотя, конечно... лес рубят – щепки летят. Не уследить было Сталину в неохватной империи, что творят его именем в российской глубинке. И хотя у Есенина всероссийская слава, но тучи над ним сгущаются. Поэт, как и прежде, то ли искренне, то ли из чувства самосохранения на всех углах клянётся в своей преданности большевикам. Александр Воронский вспоминал:

«Иногда он говаривал по поводу своих заграничных скандалов: «Ну, да, скандалил, но ведь я скандалил хорошо, я за русскую революцию скандалил». И повторял рассказ о том, как в Берлине на вечере белых писателей он требовал «Интернационал», а в Париже стал, издеваться над врангелевцами и деникинцами, в отставке ставшими ресторанными «шестерками». И там и здесь его били».

А ведь в числе этих белых писателей были и Куприн, и Бунин, и Шмелев, и ещё много русских, которые не приняли противорусской власти, убивающей дух и плоть Святой Руси. И тут Есенин – само противоречие.

Но комиссарам было на руку, что поэт за большевиков, и поносит белогвардейщину, как оплот царизма. И они терпят его, то хулиганствующего, то крестьянствующего и «*тоскующего по небесам*». Им нелегко терпеть лишь его частые антисемитские выходки, если учесть, ленинский комиссариат за ничтожным исключением еврейский. Приходит конец их долготерпению. Тем более, они понимают, что «*намордник*» на поэта не смогли надеть, что тот уже и не певец интернационала и Октября, а по смутным своим убеждениям скорее национал-социалист с крестьянским уклоном или национал-анархист махновского толка.

И, похоже, последней каплей их терпения становится легендарная и мужественная поэма Есенина «Страна негодяев», в которой большевиков приводит в ярость не столько даже «облагороженный» батька Махно, крестьянский заступник, сколько образ типичного ленинского комиссара Чекистова (*напомним, прообраз Лейба Троцкий*). Разве могли троцкие, которыми кишел ленинский комиссариат, простить такие монологи...

«НОМАХ (МАХНО)

Ваше (большевистское) равенство – обман и ложь.// Старая гнусная шарманка // Этот мир идейных дел и слов.// Для глупцов – хорошая приманка,// **Подлецам – порядочный улов.** (Выделено мною, – А.Б.)

ЧЕКИСТОВ (Троцкий)

Нет бездарней и лицемерней,// Чем ваш русский равнинный мужик! (...) //То ли дело Европа? // Там тебе не вот эти хаты,// Которым, как глупым курам,// Головы нужно давно под топор...

ЗАМАРАШКИН (русский красноармеец)

Слушай, Чекистов!.. //С каких это пор //Ты стал иностранец?// Я знаю, что ты еврей,// Фамилия твоя Лейбман, //И чёрт с тобой, что ты жил //За границей.... (...)

ЧЕКИСТОВ (Троцкий)

Ха-ха! //Нет, Замарашкин! //Я гражданин из Веймара //И приехал сюда не как еврей,// А как обладающий даром //Укрощать дураков и зверей.// Я ругаюсь и буду упорно //Проклинать вас хоть тысячи лет,// Потому что...// Потому что хочу в уборную,// А уборных я России нет. //Странный и смешной вы народ!// Жили весь век свой нищими //И строили **храмы Божии...// Да я б их давным-давно //Перестроил в места отхожие**». (Выделено мною, – А.Б.)

И перестроили служители Князя тьмы, начав разрушения Руси с церковей, поскольку и сама революция была актом религиозно-мистическим, богоборческим. Как сказал великий русский философ Иван Ильин: **«Сущность катастрофы духовна. Это есть кризис русской религиозности. Кризис чести и совести. Кризис русского национального сознания. Кризис русской семьи. Великий и духовный кризис всей русской истории».**

* * *

Уже будучи за границей с Дункан, Сергей Есенин чувал, что над ним в России готовится расправа, и жизнь его на волоске. Он бы мог где-то «за бугром» и осесть, как сотни русских писателей, ученых, художников, деятелей, – тем более, под крылом такой жёнушки, как Дункан, имевшей мировую славу и деньги, к тому же души в нём не чаявшей. Но слишком уж сильно поэт не любил за границу, особенно Америку, духовно и творчески убитую «прогрессом», слишком уж страстно, до слез и сердечной боли любил свою березовую Русь. Даже чувая, что возвращается на верную погибель, не вернуться в Россию не мог.

Дайте мне на Родине любимой,
Все любя, спокойно умереть.

Начинается травля поэта. Пишутся ругательные статьи, которые тогда ничем не отличались от доносов в ЧК, после которых или пускали в распыл или ссылали туда, где Макар телят не пас и откуда никто не возвращался.

Заодно с Есениным (в разное время) травят и всех крестьянских поэтов Клюева, Клычкова, Орешина, Ганина, Наседкина, Приблудного, Корнилова, Васильева. Всех их потом троцкие сгубили.

Этот песий лай продолжится и после гибели Есенина. Уж они ему все обиды припомнят, всю свою злость и зависть выплеснут... Крученный-ссученный стихотворец Крученых даже напишет книжки против русского поэта – «Есенин и Москва кабацкая», «Лики Есенина – от херувима до хулигана», «Чёрная тайна Есенина»...

Крученых:

«До тех пор наша молодежь не будет окончательно вытрезвлена от Есенинского запоя, пока в тугие мозги «есенистов от критики» не проникнет сознание глубочайшей общественной вредности творимого ими «чествования» и «обожествления памяти» великого развратителя юных умов – я не могу сложить пера.»

Луначарский:

«Что такое Есенищина? Это олицетворение хулиганства, унынья, пессимизма и наркомании. Все эти качества были и у Есенина...»

Бухарин:

«Есенищина» – самое вредное, заслуживающее настоящего бичевания явление нашего литературного дня. По Есенищине нужно дать хорошенький залп.»

«...Идейно Есенин представляет самые отрицательные черты русской деревни: мордобой, внутреннюю величайшую недисциплинированность, обожествление самых отсталых форм общественной жизни вообще.»

«С мужицко-кулацким естеством прошел по полям революции Сергей Есенин.»

«Причудливая смесь из «кобелей», «икон», «сисястых баб», «жарких свечей», березок, луны, сук. Господа Бога, некрофилии и т. д. – все это под юродствующего квазинародного националиста – вот что такое Есенищина.»

Есенина травят, как волка, окружив ненавистными и пугающими красными флажками; а потом, ошалевшего от погони, от яростного шума и гама, измотанного, смертельно усталого, раненного добивают.

А для травли, к сожалению, жизнь поэта, путаная, противоречивая, давала, конечно, много поводов.

Есенина убили в петроградской гостинице «Англетер» и всунули в петлю – есть тому немало свидетельств. Случилось даже не просто заказное убийство, какие происходят нынче в мафиозных разборках, – а убийство идеологическое. Этим оно похоже и на истребление царской семьи.

Художники – талантливо и страстно напоминающие русским, что они русские, что имели счастье родиться в великом народе, который ещё недавно был духовно-христианским светочем и спасительной надеждой человечества, который за десять крещённых веков создал самое высокое и самое живописное в мире искусство, художники – указывающие русским, что у них есть лишь одно счастливое предназначение в этой жизни, послужить нашему божественному Отечеству, – такие художники, тем более, имеющие всероссийскую славу и особенно выход и влияние на молодежь, всегда опасны слугам Князя Тьмы, разъедающим нации и государства, ныне добивающим нашу несчастную Россию. Таких художников, которых уже невозможно замолчать, как невозможно искусить соблазнами мира сего, – таких убирают.

Но, если жизнь хрупка и недолговечна, то прекрасные стихи Есенина могут жить вечно, пока жив русский человек, с его духовными взлетами и падениями, с его неумирающей тоской по небесам.

1995, 1998

Анатолий Байбородин

[Страничка Анатолия Байбородина на сайте «Земляки»](#)